

Пруды

Иногда, пресытившись людским обществом и разговорами и надоев всем моим приятелям из поселка, я шел еще дальше на запад от своего постоянного жилища, в самые безлюдные части нашей округи, «в новый лес и в луг иной», [185] или на закате солнца ужинал черникой и голубикой на холме Фейр-Хэвен и запасался ею на несколько дней. Те, кто покупает ягоды и фрукты, как и те, кто растит их на продажу, не знают их истинного аромата. Узнать его можно лишь одним способом, но к нему прибегают немногие. Если хочешь узнать, как вкусна черника, спроси у пастуха или у перепелки [186]. Кто никогда не собирал черники, тот напрасно думает, что знает ее вкус. До Бостона черника не доходит, она неизвестна там с тех пор, как перестала расти на трех его холмах. Неповторимый аромат и вкус ее исчезают вместе с нежным налетом, который стирается с нее в рыночной повозке, и она превращается в простой фураж. Пока царит Вечная Справедливость, ни одна ягода черники не может быть доставлена с лесных холмов во всей своей невинности.

Иногда, окончив дневную прополку, я присоединялся к долго поджидавшему меня товарищу, который с утра рыбачил на пруду, молчаливый и недвижимый, как утка или плавучий лист кувшинки, и перебрав различные философские системы, к моему приходу обычно убеждался, что принадлежит к древней секте сенобитов [187]. Приходил также один старик, отличный рыболов, опытный, кроме того, во всех видах охоты; ему нравился мой дом, который он считал построенным специально ради удобства рыболовов; а мне нравилось, когда он сидел у меня на пороге, разбирая свои удочки. Иногда мы вместе сидели на пруду, он на одном конце лодки, я — на другом; но разговаривали мы мало, потому что он к старости оглох и только иногда тихонько напевал псалом, что вполне соответствовало моему умунастроению. Таким образом, ничто не нарушало гармонии наших отношений, и вспоминать их куда приятнее, чем если бы они выражались словами. Когда — как это бывало чаще всего — мне не с кем было общаться, я будил эхо, ударяя веслом по краю лодки, и наполнял окрестные леса волнами разбегающихся звуков, дразня их, как сторож зверинца дразнит зверей, пока каждый лесистый дол и холм не откликнулся мне рычанием.

В теплые вечера я часто сидел в лодке и играл на флейте, и ко мне, словно зачарованные, подплывали окуни, а лунный свет передвигался по ребристому дну, усеянному лесными обломками. Раньше я ходил на пруд в поисках приключений, в темные летние вечера, с каким-нибудь приятелем; мы разводили костер у самой воды, думая привлечь этим рыбу, и ловили сомов на связку червей, а потом, глубокой ночью, высоко подбрасывали в воздух головешки, как фейерверк; падая в пруд, они гасли с громким шипением, и мы внезапно оказывались в полной тьме. В этой темноте, насвистывая песенку, мы возвращались в жилые места. А теперь я совсем поселился на берегу пруда.

Иногда, погостив у кого-нибудь в поселке, пока хозяевам не пора было спать, я возвращался в лес и добывал свой завтрашний обед — удил рыбу с лодки при луне; совы и лисицы пели

мне серенады, а иногда над самой моей головой раздавался трескучий крик какой-то неведомой птицы. Это были незабываемые ночи; я стоял на якоре на глубине 40 футов, в четверти мили от берега, окруженный иногда тысячами мелких окуней и других рыбешек, которые рябили хвостами посеребренную лунной воду; длинная льняная нить соединяла меня с таинственными ночными рыбами, обитавшими на глубине 40 футов; иногда, плывя по воле легкого ночного ветерка, я тащил по пруду 60 футов лесы, временами ощущая в ней легкое подергивание, говорившее о том, что на другом ее конце идет какая-то жизнь и кто-то ворочается там и никак не может решиться. Наконец, перебирая лесу руками, медленно вытягиваешь наверх какую-нибудь извивающуюся и прыгающую рогатую рыбу. Это очень странное чувство — особенно темной ночью, когда уносишься мыслями в беспредельный космос, — ощутить вдруг этот слабый рывок, прерывающий твои грезы и снова соединяющий тебя с Природой. Казалось, я мог бы забросить удилище не только вниз, но и вверх, в воздух, почти такой же темный. И я как бы ловил двух рыб на один крючок.

Пейзажи Уолдена скромны; хотя они и прекрасны, но не могут быть названы величавыми и не тронут того, кто не ходит сюда часто или не живет на берегу. Однако пруд так удивительно глубок и чист, что заслуживает подробного описания. Это прозрачный и глубокий зеленый водоем, длиною в полмили, окружностью в милю и три четверти, а площадью примерно в 61,5 акра; неисчерпаемый родник среди сосновых и дубовых лесов, без какого-либо видимого притока или оттока, кроме облаков и испарения. Окружающие его холмы круто поднимаются из воды на высоту от 40 до 80 футов, а в каких-нибудь четверти или трети мили на юго-восток и восток они достигают 100–150 футов. Все это поросло лесом. Все водоемы Конкорда имеют по меньшей мере два цвета — один издали, другой, более правильный, вблизи. Первый больше зависит от освещения и отражает небо. В ясную летнюю погоду, особенно при ветре, озера на небольшом расстоянии кажутся синими, а издали все они одинаковы. В бурную погоду они иногда становятся темно-серыми. А море, говорят, бывает один день синим, другой — зеленым, независимо от погоды. В нашей реке мне случалось видеть и воду, и лед зелеными, почти как трава, когда кругом лежал снег. Некоторые считают, что цвет чистой воды — «синий, как в жидком состоянии, так и в твердом». Но если смотреть в наши воды прямо с лодки, цвета оказываются там самыми различными. Уолден кажется иногда голубым, а иногда — зеленым, даже с одного и того же места. Он лежит между небом и землей и принимает цвет обоих. Если смотреть на него с вершины холма, он отражает цвет неба, а если приблизиться, то увидишь, что у берега, там, где виден песок, он желтоватый, дальше — светло-зеленый, а к середине зеленый цвет постепенно сгущается. При известном освещении он даже с холма кажется у берегов ярко-зеленым. Некоторые объясняют это отражением зелени, но он так же зелен и у песчаного берега, ближайшего к железной дороге, и весной, когда листва еще не распустилась; быть может, это происходит от смешения преобладающего в нем голубого цвета с желтым цветом песка. Таков цвет глаз Уолдена. Такова также та его часть, где весенний лед, разогретый солнечным теплом, отраженным от дна, а также теплом земли, тает раньше всего и образует узкий канал вокруг еще замерзшей середины. Как и в других наших водоемах, в ясную погоду и при сильном ветре, когда волны отражают небо под прямым углом или вообще получают больше света, синева пруда на некотором расстоянии кажется темнее неба; в такую пору, находясь на его поверхности и одновременно следя за отражениями, я различал в нем несравненную и неопишемую светлую синеву, напоминающую переливы муара или блики на сабельном лезвии и более яркую, чем само

небо; другая сторона волны оставалась темно-зеленой и рядом с этим цветом казалась мутной. Мне запомнилась эта стеклянная, зеленоватая голубизна, подобная кускам зимнего неба на закате, проглядывающим сквозь тучи. Между тем стакан уолденской воды кажется на свет прозрачным и бесцветным, точно стакан воздуха. Известно, что большой стеклянный сосуд имеет зеленоватый оттенок, объясняющийся, как говорят мастера, тем, что здесь стекло «в массе», а маленький осколок того же сосуда бесцветен. Сколько требуется уолденской воды, чтобы отражать зеленый цвет, этого я не проверял. Вода нашей речки, если смотреть на нее прямо сверху, кажется черной или темно-коричневой; как и в большинстве прудов, тела купальщиков выглядят в ней желтоватыми; но в этом пруду вода так кристально чиста, что придает телам купающихся белизну алебаstra и к тому же увеличивает их и чудовищно искажает пропорции, превращая их в натурщиков, достойных Микеланджело.

Эта вода так прозрачна, что на глубине 25–30 футов можно ясно различить дно. С лодки вам видны глубоко внизу стайки окуней и плотвы, длиною не более дюйма; первых легко отличить по их поперечным полоскам, и вы спрашиваете себя, какие рыбы-аскеты могут находить там пропитание. Однажды зимой, много лет назад, я вырубал во льду проруби, чтобы ловить молодых щук и, выходя на берег, кинул на лед топор, который, как на зло, скользнул прямо в одну из прорубей, глубиной в 25 футов. Из любопытства я лег на лед и стал глядеть в прорубь, пока не увидел свой топор, стоявший стоймя, топорищем вверх, и тихо качавшийся в такт пульсу Уолдена; так он мог бы стоять и покачиваться, пока не сгнил бы, если бы я не потревожил его. Прodelав прямо над ним еще одно отверстие с помощью долота и срезав ножом самую высокую березку, какая нашлась по соседству, я прикрепил к ее концу скользящую петлю, осторожно опустил ее туда, накинул на топорище, подтянул топор вдоль ствола с помощью лесы и таким образом вытащил его.

Пруд окаймлен гладкими, округлыми белыми камнями, вроде тех, какими мостят мостовые, и только в двух местах имеются небольшие песчаные пляжи; берега его так круты, что во многих местах вы можете одним прыжком оказаться в воде с головою; если бы не удивительная прозрачность этой воды, дальше уж не было бы видно дна до противоположного берега. Некоторые считают этот пруд бездонным. В нем нигде нет ила, и на первый взгляд кажется, что совсем нет и водорослей и вообще никаких растений, кроме как на недавно затопленных лужайках, которые, собственно, нельзя считать частью пруда, — сколько ни смотри, не увидишь ни шпажника, ни камыша, ни даже желтой или белой кувшинки, лишь кое-где мелкий рдест и кабомба; купальщик может и не заметить их; все эти растения чисты и светлы, как окружающая их вода. Галька продолжается на 15–20 футов под водой, а дальше идет чистый песок, и разве что в самых глубоких местах немного отложений — вероятно, остатки листьев, столько лет падавших в воду, да еще ярко-зеленые водоросли, которые якорь зацепляет и вытягивает там даже среди зимы.

Есть у нас еще один такой же пруд — Белый пруд в Найд-Эйкр Корнер, в двух с половиной милях к западу; но хотя мне и знакомо большинство прудов на 12 миль в окружности, я не знаю больше ни одного, который отличался бы подобной родниковой чистотой. Вероятно, не одно племя пило из него, любовалось им, меряло его глубину и исчезало с лица земли, а его вода все так же зелена и прозрачна. Никогда не иссякал этот источник. Быть может, в то весеннее утро, когда Адам и Ева были изгнаны из рая, Уолденский пруд уже существовал и

тогда уже поливался тихим весенним дождем с туманом и южным ветром, а на поверхности его плавали бесчисленные утки и гуси, ничего не слыхавшие о грехопадении и вполне довольные этой чистой водой. Уже тогда его уровень то подымался, то опускался, и он очистил свои воды, придав им их теперешний цвет, и получил от небес патент на право быть единственным в мире Уолденским прудом, где производится дистилляция небесной росы. Как знать, быть может, в поэзии многих забытых племен он был Кастальским источником?[188] А в Золотом веке у него были свои нимфы? В короне Конкорда — это алмаз чистейшей воды.

И все же первые пришельцы на эти берега оставили, по-видимому, какие-то следы. Я с удивлением обнаружил вокруг всего пруда, даже там, где только что были срублены густые заросли, узкую, как карниз, тропу вдоль крутого склона, которая идет то подымаясь, то опускаясь, то приближаясь к воде, то отдаляясь от нее; тропа эта, вероятно, ровесница первым людям здешних мест; ее протоптали туземные охотники, а с тех пор ею иногда пользовались позднейшие обитатели. Если стоять зимой посередине пруда, когда только что выпал снег, она особенно ясно различима в виде волнистой белой линии; ее не заслоняют ветви и камыши, и она видна за четверть мили во многих местах, где летом ее трудно различить даже вблизи. Снег как бы печатает ее четким и рельефным белым шрифтом. Следы ее, вероятно, сохранятся и тогда, когда по берегам настроят вилл с нарядными садами.

Пруд имеет свои приливы и отливы, но насколько они регулярны и часты — этого не знает никто, хотя, как обычно, многие уверяют, что знают. Обыкновенно вода в нем стоит выше зимой и ниже — летом, хотя это не зависит ни от засухи, ни от дождей. Я помню время, когда она стояла на фут или два ниже и, наоборот, футов на пять выше, чем в ту пору, когда я там жил. Там есть узкая песчаная отмель, а по одну сторону от нее — большая глубина; на этой отмели в 1824 г. мы варили в котелке рыбу, в сотне футов от главного берега, чего нельзя было делать целых 25 лет; с другой стороны, друзья не верили мне, когда я рассказывал, что несколько лет спустя я удил рыбу с лодки в полусотне футов от единственного известного им берега, в укромной бухточке, которая с тех пор превратилась в лужайку. Но вот уже два года, как уровень воды неуклонно подымается, и сейчас, летом 1852 г., он на пять футов выше, чем когда я там жил; он опять так же высок, как 30 лет назад, и на лужайке снова можно удить. Разница уровня составляет шесть — семь футов, а между тем с окружающих холмов стекает очень незначительное количество воды, и повышение объясняется, очевидно, подземными родниками. Этим летом уровень воды снова начал снижаться. Примечательно, что эти колебания, периодические или непериодические, растягиваются, видимо, на много лет. На моей памяти одно такое повышение и частично — два понижения, и я думаю, что через 12–15 лет вода опять достигнет самого низкого из известных мне уровней. На расстоянии мили к востоку Флинтов пруд — где, конечно, надо принимать в расчет впадающие в него и вытекающие из него ручьи и роль смежных мелких прудов — ведет себя одинаково с Уолденом и недавно одновременно с ним достиг своего наивысшего уровня. Насколько я мог наблюдать, то же относится и к Белому пруду.

Это медленное падение и повышение уровня уолденских вод имеет, во всяком случае, одно значение: держась на высоком уровне в течение года и больше, вода затрудняет путь вокруг пруда, уничтожает кустарник и деревья, успевшие вырасти по берегам после

прошлой высокой воды, — смолистую сосну, березу, ольху, осину и другие — и, отступая, оставляет берега чистыми; в отличие от многих прудов и всех водоемов, где бывают ежедневные приливы, берега Уолдена всего чище, когда уровень воды понижается. На той стороне пруда, которая ближе к моему дому, ряд смолистых сосен высотой в 15 футов был таким образом опрокинут и срезан; наступление леса было остановлено, и по размеру деревьев можно судить, сколько лет назад вода подымалась в последний раз до этого уровня. Благодаря таким колебаниям уровня, пруд *оберегает* свои берега, и деревья не могут на них закрепиться. Это — губы пруда, на которых не растет борода. Время от времени он их облизывает. Когда вода стоит всего выше, ольха, ива и клен, стараясь удержаться, опускают из своих стволов в воду массу красных волокнистых корней в несколько футов длиной, а обычно бесплодные кусты голубики, растущие по берегу, в изобилии покрываются ягодами.

Некоторые недоумевают, отчего берега пруда как будто вымощены камнем. Всем моим землякам известна легенда — самые древние старики уже слышали ее в юности — об индейцах, некогда собравшихся на сходку на холме, который настолько же подымался к небу, насколько пруд ушел сейчас в землю, и будто бы они там сквернословили — хотя это один из тех пороков, в которых индейцы никогда не были повинны, — как вдруг холм внезапно провалился под ними; уцелела лишь одна старая скво (женщина — на языках сев.-амер. индейцев) по имени Уолден, в честь которой и был назван образовавшийся пруд. Предполагают, что когда холм сотрясся, с него скатились камни, которые и образовали нынешние берега. Одно во всяком случае достоверно — когда-то пруда не было, а теперь он есть, и этот индейский миф ничуть не противоречит рассказу уже упомянутого мною старого поселенца[189], который отлично помнит, как впервые пришел сюда с заветным ореховым прутиком[190], как с травы встал туман, а прутик упорно указывал вниз, и он решил копать тут колодец. Что касается камней, многие не согласны с тем, что их смыло с холмов волнами; однако, по моим наблюдениям, окрестные холмы изобилуют точно такими же камнями, и там, где железная дорога проходит ближе всего к пруду, их пришлось сгрести в высокие валы по обе стороны полотна; к тому же, камней больше всего там, где берег круче, так что, к несчастью, это теперь для меня не тайна. Я догадался, кто вымостил берега. Если название не произошло от какой-нибудь английской местности — например, Саффрон Уолден, — можно предположить, что пруд назывался первоначально Walled-in pond (пруд, окруженный стеной — англ.).

Пруд служил мне колодцем. Четыре месяца в году вода в нем так же холодна, как она бывает чиста весь год, и тогда она, по-моему, не хуже любой в городе, а пожалуй, и лучше. Зимой вода под открытым небом холоднее, чем в закрытых источниках и колодцах. Однажды я продержал прудовую воду с пяти часов вечера до полудня следующего дня, 6 марта 1846 г., в комнате, где температура временами доходила до 65–70° отчасти потому, что крыша накалялась солнцем, и температура воды осталась 42° — на градус меньше, чем свежая вода из самого холодного колодца в поселке. В тот же самый день температура Кипящего Ключа была 45°, [191] т. е. теплее всех испробованных, хотя вообще летом это самая холодная вода из известных мне, когда к ней не примешивается застоявшаяся вода с поверхности или мелких мест. К тому же летом Уолден благодаря своей глубине никогда не нагревается так, как обычная вода, согретая солнцем. В самую жаркую погоду я обычно ставил ведро воды в погреб, где она охлаждалась за ночь и оставалась холодной весь день;

правда, я брал также воду из ближайшего ключа. Через неделю она была так же свежа, как только что набранная, и не имела привкуса металлической трубы. Если кто летом раскинет на неделю палатку на берегу пруда, пусть только вьет в землю ведро воды где-нибудь в тени, и ему не потребуется такая роскошь, как лед.

В Уолдене случалось вылавливать молодых щук весом в семь фунтов; а одна ускользнула и с большой скоростью утащила за собой спиннинг, который рыболов, не разглядев ее, спокойно поставил на восемь фунтов; здесь ловят также окуней и сомов, достигающих иной раз двух фунтов, голавлей или плотву (*Leuciscus pulchellus*), изредка лещей и даже угрей — один из них весил четыре фунта; я привожу эти подробности потому, что славу рыбе создает только ее вес, а про других угрей я здесь не слыхал. Вспоминаются мне также рыбки дюймов в пять длиной, с серебристыми боками и зеленоватой спиной, несколько похожие на плотву, которых я упоминаю здесь главным образом для того, чтобы подкрепить легенды фактами. Но все же пруд наш не так уж богат рыбой. Больше всего он может похвалиться щуками. Мне доводилось видеть на льду щук по крайней мере трех различных видов; одна — длинная и плоская, стального цвета, более других похожая на речных щук; другая — золотая с зеленоватыми отливами, удивительно насыщенного цвета — этой здесь водится больше всего; и третья — тоже золотистая и той же формы, но усыпанная с боков, как форель, мелкими темно-коричневыми или черными пятнышками, попеременно с красными. К ней не применимо название *reticulatus*; скорее можно сказать про нее *guttatus* (сетчатый — лат.; пятнистый — лат.). Все это очень плотная рыба, и весит она больше, чем может показаться по объему. Плотва, сомики, да и окуни, как и вся рыба, обитающая в нашем пруду, гораздо красивее, чище и мякоть у нее плотнее, чем у речной рыбы или рыбы из большинства других прудов; ее сразу можно отличить — и это потому, что вода здесь чище. Вероятно, многие ихтиологи отнесли бы некоторых из них к особым разновидностям. Водится у нас также чистая порода лягушек и черепахи; изредка попадаются двустворчатые ракушки. Здесь находят следы ондатры и норки, а иногда забредает и кусающаяся черепаха. Бывало, что по утрам, спуская на воду лодку, я спугивал крупную кусающуюся черепаху, которая пряталась под ней на ночь. Весной и осенью пруд посещают дикие утки и гуси; над ним проносятся белобрюхие ласточки (*Hirundo bicolor*), а на каменистых берегах все лето подпрыгивают кулики-травники (*Totanus macularius*). Иногда мне случалось спугнуть птицу-рыболова, сидевшую над водой, на ветке белой сосны, но в отличие от Фейр-Хавена наш пруд не оскверняется чайками. Он допускает самое большое одну полярную гагару в год. Вот и все главные нынешние обитатели пруда.

В тихую погоду у песчаного восточного берега, где глубина достигает восьми — десяти футов, вы можете увидеть с лодки круглые кучи мелких камней меньше куриного яйца; кучи футов шести в окружности и около фута в высоту, насыпанные на чистом песке. Сперва вы можете подумать, что индейцы зачем-то насыпали их на льду, а летом они опустились на дно; но для этого они имеют слишком правильную форму, а некоторые явно совсем недавнего происхождения. Подобные образования находят и в реках, но так как здесь не водятся чукучаны и миноги, я не могу сказать, какие рыбы их образовали. Быть может, это гнезда голавлей[192]. Они придают дну пруда некую приятную таинственность.

Берега достаточно разнообразны, чтобы не наскучить. Я мысленно представляю себе западный берег, изрезанный глубокими заливами, более крутой северный и красивый

южный, вырезанный фестонами, где мысы заходят один за другой, образуя неизведанные бухты. И лес кажется всего красивее, если смотреть на него с середины небольшого озера, окруженного холмами, встающими прямо из воды; вода, в которой он отражается, не только образует для него самый лучший передний план; извилистые берега составляют вместе с тем естественную и живописную границу леса. Ничто здесь не нарушает гармоничной линии опушки, как нарушают ее порубки или примыкающие к ней поля. Деревья могут свободно расти в сторону воды, и каждое простирает к ней свою самую мощную ветвь. Природа создает здесь естественную кайму, и взгляд постепенно переходит от низких прибрежных кустов к вершинам самых высоких деревьев. Здесь почти не видно следов человека. Вода омывает берега, как тысячу лет назад.

Озеро — самая выразительная и прекрасная черта пейзажа. Это — око земли, и, заглянув в него, мы измеряем глубину собственной души. Прибрежные деревья — ресницы, опушившие этот глаз, а лесистые холмы и утесы вокруг него — это насупленные брови.

Тихим сентябрьским днем, стоя на гладком песчаном восточном берегу, когда противоположный берег слегка подернут туманом, я понял, откуда идет выражение «зеркальная гладь озера». Если смотреть на нее вниз головой,[193] поверхность озера покажется тончайшей паутиной, протянутой через долину, блестящей на фоне дальнего соснового леса и разделяющей два воздушных слоя. Вам покажется, что можно пройти под ней, не замочившись, до противоположного берега и что летающие над озером ласточки могли бы на нее сесть. Иногда им действительно случается нырнуть за черту, но тут они обнаруживают свою ошибку. Взгляните на запад, и вам придется обеими руками заслониться не только от настоящего, но и от отраженного солнца, ибо оба они одинаково ярки; всмотритесь пристально в водную поверхность между ними — она кажется действительно гладкой, как стекло, и только слегка искрится от рассыпанных повсюду водомерок, или где-нибудь плещется утка, или ласточка, как я уже говорил, задевает воду крылом. Или вдруг выпрыгнет рыба и опишет в воздухе дугу в три — четыре фута, ярко сверкнув там, где выпрыгнула, и там, где ушла под воду, а иной раз прочертив серебром всю дугу; или проплывет пушинка чертополоха, и рыбы, стараясь схватить ее, рябят воду. Вода подобна расплавленному стеклу, охлажденному, но еще не затвердевшему, и немногие пятнышки на ней тоже чисты и прекрасны, как бывают изъяны на стекле. Часто в ней можно различить еще более гладкий и темный слой, отделенный словно невидимой паутиной, — плавучий мост для отдыха водяных нимф. С вершины холма вам видна каждая прыгнувшая рыба; стоит щуке или плотве поймать мошку на этой зеркальной глади, как уже потревожена вся поверхность озера. Удивительно, с какой ясностью обнаруживается этот простой факт — это убийство на воде, — и с моего отдаленного наблюдательного поста я вижу расходящиеся круги до сотни футов в диаметре. За четверть мили можно даже различить, где по водной глади бежит водяной жук (*Gyrinus*); эти жуки слегка бороздят воду, образуя ямку, и от нее — две расходящиеся линии; а водомерки — те скользят, почти не оставляя ряби. Когда поверхность взволнована, на ней нет ни водомерок, ни водяных жуков, а в тихую погоду они отваживаются выходить из укрытий и, двигаясь короткими толчками, сбегаются на середину. В погожие осенние дни, когда особенно дорожишь солнечным теплом, хорошо сидеть на пне, где-нибудь на вершине холма, над прудом и следить, как кто-то непрестанно чертит расходящиеся круги на зеркале, которое иначе было бы невидимо и только отражало небо и деревья. Что бы ни взволновало эту обширную

поверхность, она спешит успокоиться и разгладить свои морщины; как бывает при сотрясении сосуда с водой, дрожащие круги бегут к берегу, и все снова стихает. Стоит где-нибудь выпрыгнуть рыбе или насекомому упасть на воду, и это тотчас же отражается в разбегающейся ряби, в прекрасных линиях — это дышит пруд, это трепещет в нем жизнь и вздымается его грудь. Боль и радость выражаются здесь одинаковым трепетом. Как мирно свершается все на озере! Снова творения рук человеческих сияют, точно весной; всякий лист, веточка, камушек и паутинка сверкают среди дня так, как это бывает весной только по утрам, по росе. Каждое движение весла или насекомого высекает искру света; а когда весло падает на воду, какие нежные отзвуки оно будит!

В такой день, в сентябре или октябре, Уолден кажется настоящим лесным зеркалом в оправе из камней, которые представляются мне редкостными и драгоценными. Нет на лице земли ничего прекраснее, чище и в то же время просторнее, чем озеро. Это — небесная вода. Ей не нужны ограды. Племена проходят мимо нее, не оскверняя ее чистоты. Это зеркало, которое нельзя разбить камнем, с которого никогда не сойдет амальгама, на котором Природа постоянно обновляет позолоту; ни бури, ни пыль не могут замутить его неизменно ясной поверхности; весь сор, попадающий на него, исчезает, смахивается легкой метелкой солнца; его не затуманить ничьим дыханием, а собственное его дыхание подымается над ним облаками и продолжает в нем отражаться.

Водная стихия отражает воздушную. Она непрестанно получает сверху новую жизнь и движение. По природе своей она лежит посередине между землей и небом. На земле от ветра колышутся только трава и деревья, а на воде он волнует всю поверхность. По бликам света я вижу, где пробегает над ней ветерок. Замечательно, что на водную поверхность можно смотреть. Когда-нибудь наш глаз сможет так же смотреть и на воздушную и замечать на ней дуновения еще более неуловимые.

В конце октября, когда наступают настоящие заморозки, исчезают и водомерки и водяные жуки, в это время и в ноябре, в тихие дни ни одна морщинка не набегает на водную гладь. Однажды в ноябре, уже после полудня, во время затишья после нескольких дней бури и дождей, когда небо было еще сплошь затянуто тучами, а в воздухе стоял туман, я обратил внимание на то, что пруд был удивительно гладок, так что поверхность его была почти невидимой, хотя отражала уже не яркие краски октября, а сумрачные ноябрьские холмы. Я вел лодку как только мог осторожно, но легкие волны, которые от нее разбегались, все же уходили очень далеко и смещали отраженные в пруду картины. Но вот в нескольких местах я заметил на поверхности воды слабое мерцание, точно там собрались водомерки, уцелевшие от холодов, или же гладкая поверхность выдавала места, где со дна били ключи. Тихо подплыв к одному такому месту, я с удивлением увидел, что оказался среди несметной стаи мелких окуней, около пяти дюймов длины; они резвились, сверкая бронзой в зеленой воде, то и дело подымаясь на поверхность и оставляя на ней рябь и пузырьки. На этой прозрачной и словно бездонной воде, отражавшей облака, я как будто парил на воздушном шаре, и стаи рыб тоже, казалось, были в полете, точно стаи птиц, пронесившиеся как раз подо мной, справа и слева, распустив плавники, будто крылья. В пруду было много таких стай, которые, видимо, спешили пользоваться короткой порой, прежде чем зима задвинет их широкое окно ледяными ставнями; из-за них поверхность воды иногда казалась взволнованной легким ветром или изрытой дождевыми каплями. Когда я спугивал их

неосторожным приближением, они разом шлепали по воде хвостами — точно кто-то ударял по ней ветвистым суком — и скрывались в глубине. Но вот ветер усилился, поднялся туман, по пруду пошли волны, и окуни начали подпрыгивать еще выше, наполовину выскакивая из воды, и сотни этих темных черточек в три дюйма длиной одновременно появлялись на поверхности. Был один год, когда еще 5 декабря я заметил на воде ямочки и, думая, что начинается сильный дождь, потому что стоял туман, налег на весла и поспешил домой; дождь, казалось, усиливался, хотя на меня еще не упало ни одной капли, и я приготовился промокнуть насквозь. Но ямочки внезапно исчезли, потому что это были окуни, которых плеск моих весел прогнал в глубину, — я увидел, как они уходили, — так что я все же остался сухим.

Один старик, часто бывавший на нашем пруду лет шестьдесят назад, когда он был затенен окружающими лесами, рассказывал мне, что в ту пору пруд кишел дикими утками и другой водяной птицей, и немало было также орлов. Он приходил сюда рыбачить и брал старый долбленный каноэ, который нашел на берегу. Каноэ был сделан из двух выдолбленных сосновых бревен, скрепленных вместе и срезанных на концах под прямым углом. Это был очень неуклюжий челн, но он прослужил много лет, а потом пропитался водой и, вероятно, затонул. Он не знал, чья это лодка, — она принадлежала пруду. Якорный канат он сплел из орехового лыка. А один старый горшечник, живший у пруда еще до Революции,[194] рассказывал ему, что на дне лежит железный сундук и что он сам его видел. Иногда сундук подплывал к берегу, но когда вы подходили, он опускался в глубь и исчезал. Мне понравился рассказ о старом долбленном каноэ, заменившем индейский каноэ из такой же сосны, но более красивой формы, а тот некогда мог быть просто деревом, которое росло тут же, на берегу, упало на воду и много лет на ней плавало, — самый подходящий челн для такого озера. Помню, что, впервые заглянув в глубину, я смутно различил на дне множество толстых стволов, которые свалились туда во время бури или, может быть, остались на льду после порубок, когда дрова были дешевле; сейчас их почти не видно.

Когда я впервые выехал в лодке на Уолден, он был со всех сторон окружен густым и высоким сосновым и дубовым лесом, а в некоторых бухтах дикий виноград, обвивая деревья над самой водой, образовал своды, под которые могла въехать лодка. Окружающие озеро холмы так круты, а лес на них был в те годы так густ, что когда вы смотрели на него с западного берега, он казался амфитеатром для какой-то лесной феерии. Когда я был моложе, я проводил на нем многие летние часы; выгребя на середину, я ложился на спину и плыл по воле зефира и грезил наяву, пока лодка не врезалась в песок; тогда я вставал посмотреть, к какому берегу привела меня судьба, — то были дни, когда праздность была самым привлекательным и продуктивным занятием. Так я провел много утренних часов, так предпочитал проводить лучшую часть дня, ибо я был богат, если не деньгами, то солнечными часами и летними днями, и расточал их щедро и не жалею о том, что не проводил их чаще в мастерской или за учительским столом. Но с тех пор, как я покинул эти берега, их сильно опустошили лесорубы, и теперь много лет нельзя будет бродить под лесными сводами, где лишь изредка открывается вид на воду. Если моя Муза с тех пор умолкла, в этом ее извинение. Разве птицы могут петь, когда вырублены их рощи?

Нет больше затонувших стволов на дне, нет старого долбленного каноэ, нет вокруг темных лесов, и жители поселка, которые едва ли знают к пруду дорогу, вместо того, чтобы

купаться в нем или пить из него, поговаривают, как бы эту воду, которая должна быть для них священна не меньше Ганга, провести к себе в трубах,[195] чтобы мыть в ней посуду! Стоит повернуть кран или вынуть втулку, и вот тебе Уолден! Дьявольский Стальной Конь, который оглушительно ржет на весь город и замутил копытами Кипящий Ключ, — вот кто съел все леса на берегу Уолдена; Троянский Конь, скрывающий тысячу людей в своем чреве, введенный торгошами-греками! Где же герой, где Мур из Мур Холла,[196] который сошелся бы с ним в Глубокой Лощине и вонзил чудовищу копьё между ребер?

Все же из всех известных мне мест Уолден всего больше сохранил свою чистоту. Многих людей сравнивали с ним, но немногие заслужили эту честь. Хотя лесорубы обнажили один за другим его берега, а ирландцы настроили на них свои хлева, хотя в его пределы ворвалась железная дорога, а продавцы льда совершили на него налет, сам он не переменялся; здесь все та же вода, которую я видел в молодости; это я переменялся. Сколько ни ходило по нему ряби, морщин на нем не осталось. Он вечно молод, и я по-прежнему могу видеть, как ласточка, ловя мушек, словно ныряет в него. Сегодня он вновь поразил меня, точно я вот уже 20 с лишком лет не вижу его почти ежедневно. Да, вот он Уолден, то самое лесное озеро, которое я открыл столько лет назад; вместо леса, срубленного прошлой зимой, на берегу его подрастает новый, столь же полный соков и сил, и та же мысль подымается со дна его на поверхность, что и тогда; он так же сияет и переливается, на радость себе самому и своему Создателю, а, *быть может*, и мне. По всему видно, что это — творение хорошего человека, в котором нет лукавства. Он своими руками вырыл эту округлую купель, углубил и очистил ее своей мыслью и завещал Конкорду. Я вижу в ней его отражение и готов спросить: Уолден, это ты?

*Все это — вовсе не вымысел мой,
Чтоб удивить красивой строкой.
Можно ли ближе быть к небесам,
Если мой Уолден — это я сам?
Я над ним и ветер быстрый,
Я и берег каменистый,
Я держу в ладонях рук
Его воду в песок,
А глубинную струю
Я в душе своей таю[197].*

Вагоны никогда не останавливаются, чтобы полюбоваться им, но мне кажется, что машинисты, их помощники, кочегары и те пассажиры, которые имеют сезонный билет и проезжают здесь часто, становятся лучше от этого. Машинист ночью вспомнит, пускай бессознательно, что ему хоть раз в день явилось это видение покоя и чистоты. Пусть оно только промелькнуло — оно успело смыть с него следы Стейт Стрит[198] и паровозную сажу. Я предложил бы назвать его «Божьей Каплей».

Я сказал, что у Уолдена нет никаких видимых оттоков и притоков; но с одной стороны он связан, хотя и отдаленно, через несколько мелких прудов, с Флинтовым прудом, лежащим на большей высоте, а с другой — прямо и явно соединен с рекой Конкорд, лежащей ниже, через такие же промежуточные пруды, по которым в иную геологическую эпоху он,

возможно, протекал, а если кое-где прорыть — отчего упаси нас бог! — то и опять может потечь. Если он приобрел свою дивную чистоту тем, что долго вел строгую, уединенную жизнь лесного отшельника, кто захочет, чтобы к нему примешались гораздо менее чистые воды Флинта, или чтобы сам он излил свою прозрачную струю в океан?

Флинтов, или, иначе, Песчаный пруд, в Линкольне, самый крупный из наших водоемов и внутренних морей, находится примерно в миле к востоку от Уолдена. Он гораздо больше, занимает примерно 197 акров и более богат рыбой, но сравнительно неглубок, и вода в нем не отличается чистотой. Я часто совершал к нему прогулки через лес. Он стоил такого похода хотя бы для того, чтобы ощутить свежий ветер, увидеть бегущие волны и вспомнить о жизни моряков. Осенью я ходил туда за каштанами, в ветреные дни, когда каштаны падали в воду и их выносило на берег к моим ногам; однажды, шагая вдоль прибрежной осоки, обдаваемый свежими брызгами, я набрел на полусгнивший остов лодки, от которой мало что осталось, кроме плоского днища, отпечатавшегося среди камышей; но очертания ее сохранились так четко, точно это был большой сгнивший лист водяной лилии со всеми прожилками. Более впечатляющего зрелища вы не нашли бы и на морском берегу, и мораль была столь же ясна. Сейчас эта лодка превратилась в перегон, слилась с берегом, сквозь нее проросли камыши и шпажник. У северного берега этого пруда я любовался волнистыми наносами на песчаном дне, плотными и твердыми под моей ногой, благодаря давлению воды; а камыш там рос индейским строем — теми же волнистыми рядами, точно его насадили волны. Там же я находил множество любопытных шаров, совершенно правильной формы, от полдюйма до четырех дюймов в диаметре, скатанных, видимо, из тонкой травы, или корней, может быть из шерстестебельника. Они колышутся в мелкой воде над песчаным дном, и иногда их выносит на берег. Они бывают сплошь травяные, а бывает, что в середине находишь песок. Сперва можно подумать, что они образовались под действием волн, как галька; но даже самые мелкие из них скатаны из той же жесткой травы, в полдюйма длиной, и притом они появляются лишь в определенное время года. К тому же я полагаю, что волны способны обкатать плотное тело, но не слепить его. В сухом виде эти шары сохраняют свою форму как угодно долго.

Флинтов пруд! До чего убоги наши названия! Как посмел тупой и неопрятный фермер,[199] оказавшийся по соседству с этим небесным водоемом, чьи берега он безжалостно вырубил, дать ему свое имя? Какой-нибудь скряга, больше всего любивший блестящую поверхность доллара или новеньких центов, где отражалась его наглая физиономия, который даже диких уток, севших на пруд, готов был считать нарушителями его прав, у которого пальцы от долгой привычки загребать превратились в кривые, жесткие когти, как у гарпии, — нет, не признаю я этого названия. Я хожу туда не за тем, чтобы видеть его или слышать о нем — о нем, который ни разу не увидел озеро, не искупался в нем, не любил его, не оберегал, не сказал о нем доброго слова и не возблагодарил бога за то, что он его создал. Лучше назвать озеро в честь рыб, которые в нем плавают, птиц или животных, которые близ него водятся, или полевых цветов, растущих на его берегах, или какого-нибудь дикаря или ребенка, чья жизнь была с ним связана, но не в честь того, у кого было только одно право — купчая крепость, выданная таким же, как он, соседом или местной властью; не в честь того, кто расценивал озеро только на деньги, чье присутствие было проклятием для всего берега, кто истощал землю вокруг него и рад был бы истощить его воды; кто жалел, зачем на его месте не сенокосный луг и не болото с клюквой; кто не ценил его, кто спустил бы его и продал,

если бы надеялся нажиться на иле, устилающем дно. Оно не вертело ему мельницу, а какой был толк в том, чтобы просто смотреть на него? Я не чту ни его трудов, ни его фермы, где все имеет свою цену; он готов снести на рынок всю эту красоту, он готов снести туда и бога, если за него что-нибудь дадут; да он и так ходит молиться именно на рынок; ничто на его ферме не растет бесплатно, поля его дают лишь один урожай, луга — одни цветы, деревья — одни плоды: доллары; он не любит красу своих плодов, они не созревают для него, пока не обращены в доллары. По мне лучше бедность, заключающая в себе истинное богатство. Чем фермер беднее, тем я больше уважаю его и интересуюсь им. Знаете, что такое образцовая ферма? Дом стоит, как поганый гриб на мусорной куче; и все помещения — для людей, лошадей, быков и свиней, чистые и нечистые, — все смежны одно с другим. Все углы забиты людьми. Огромное сальное пятно, благоухающее навозом и снятым молоком! Отлично обработанная ферма, удобренная человеческими сердцами и мозгами. Разве можно выращивать картофель на кладбище? Вот что такое образцовая ферма.

О нет, если уже называть красивейшие места в честь людей, то только самых достойных и благородных. Пусть наши озера будут названы хотя бы как Икарийское море, «где берега хранят о подвиге преданье»[200]

По пути к Флинтову пруду лежит небольшой Гусиный пруд; на расстоянии одной мили к юго-западу находится Фейр-Хэвен, расширение реки Конкорд, занимающее, как говорят, около 70 акров; а за Фейр-Хэвен, примерно в полутора милях, находится Белый пруд, площадью в 40 акров. Таков мой озерный край[201]. Вместе с рекой Конкорд озера составляют мои водные угодья; изо дня в день, из года в год они перемалывают все зерно, какое я им приношу.

С тех пор, как лесорубы, железная дорога и я сам осквернили Уолден, самым привлекательным, если не самым прекрасным из всех наших озер, драгоценностью наших лесов стал Белый пруд — тоже неудачное, слишком обычное имя, происходящее то ли от замечательной чистоты его вод, то ли от цвета его песка. Но и в этом, как и в других отношениях, он лишь младший брат Уолдена. Они так похожи, что можно подумать, будто они сообщаются под землей. У них одинаковые каменистые берега и одинаковый оттенок воды. Как и на Уолдене, в жаркую погоду вода в некоторых его бухточках, достаточно мелких, чтобы окрашиваться в цвет дна, имеет мутный голубовато-зеленый цвет. Много лет назад я возил оттуда тачками песок для изготовления наждачной бумаги и с тех пор продолжаю его навещать. Некто, бывающий здесь часто, предложил назвать его Озером Свежести. Можно было бы также назвать его Озером Желтой Сосны, и вот почему: лет пятнадцать назад из-под воды, очень далеко от берега торчала верхушка смолистой сосны, которая в наших местах зовется желтой сосной, хотя и не составляет особой разновидности. Некоторые предполагали даже, что пруд образовался на месте провала и что это остаток некогда бывшего здесь леса. Я обнаружил, что уже в 1792 г. автор «Топографического описания города Конкорд», которое я нашел в архивах Массачусетского исторического общества, описав Уолденский и Белый пруды, добавляет: «Когда вода стоит очень низко, на середине этого последнего видно дерево, по-видимому, растущее на том месте, хотя корни его находятся в пятидесяти футах под водой; верхушка дерева обломана и имеет там четырнадцать дюймов в диаметре». Весной 1849 г. я беседовал с человеком, жившим в Сэдбери, поблизости от этого пруда, и он сказал, что сам извлек из воды это дерево лет за

10–15 до того. Насколько он мог припомнить, оно находилось более чем в 200 футов от берега, где глубина достигала 30–40 футов: дело было зимой, и он в то утро добывал на пруду лед, а днем решил с помощью соседей вытащить старую желтую сосну. Он прорубил во льду канал до самого берега и вытащил ее на лед с помощью упряжки быков, но скоро с удивлением обнаружил, что сосна стояла вверх корнями, — плотно увязнув верхушкой в песчаном дне. Комель ее имел в диаметре около фута, и он рассчитывал ее распилить, но она оказалась такой гнилой, что вряд ли годилась даже на топливо. Остатки ее лежали у него под навесом. На стволе виднелись следы топора и дятлов. Он считал, что это был сухостой, сваленный в пруд бурей; когда верхушка дерева пропиталась водой, а у корня оно было еще сухим и легким, оно и перевернулось вверх корнями. Отец этого человека, которому было тогда 80 лет, помнил это дерево с тех пор, как помнил себя. На дне и сейчас можно разглядеть толстые стволы, которые из-за колыхания воды на поверхности кажутся большими водяными змеями.

Здесь лодки редко тревожат воду, потому что для рыболовов этот пруд малопривлекателен. Здесь нет белых кувшинок, которые любят илистое дно, или даже обыкновенного шпажника; одна лишь редкая поросль голубых ирисов (*Iris versicolor*) окаймляет прозрачную воду, подымаясь с каменистого дна; в июне к ним слетаются колибри, и цвет их голубоватых острых листьев и цветов, особенно их отражений, странно гармонирует с опалово-зеленоватой водой.

Белый пруд и Уолден — это крупные кристаллы на лице земли, Озера Света. Если бы они застыли и были таких размеров, чтобы их можно было схватить, рабы могли бы похитить их на украшение императорских корон; но они жидкие и большие и навеки принадлежат нам и нашим потомкам, поэтому мы пренебрегаем ими и гонимся за алмазом Кохинором[202]. Они слишком чисты, чтобы иметь рыночную цену; к ним не примешано никакой грязи. Насколько они прекраснее нашей жизни, насколько чище наших нравов! Они не учили нас никаким гнусностям. Насколько они лучше, чем лужа на дворе фермера, где плавают его утки! Только чистые дикие утки прилетают сюда. Природа не имеет ценителей среди людей. Оперение птиц и их пение гармонирует с цветами; но где тот юноша или та девушка, которые составляли бы одно целое с роскошной, вольной красотой природы? Она цветет сама по себе, вдали от городов, где они живут. А еще говорят о небесах! Да вы позорите землю.

Версия #1

Зверобой создал 10 апреля 2025 22:09:33

Зверобой обновил 10 апреля 2025 22:10:35